

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

трактат



Перевела с польского
Наталья Горбаневская



Юре —

с етобавою.

Кереворна

24 гек. 82, Парик,



на

гасбитови
окно

CZESŁAW MIŁOSZ

TRAKTAT

poetycki



Na język rosyjski przełożyła

Natalia Gorbaniewska





CZESŁAW MIŁOSZ

TRAKTAT

poetycki



Na język rosyjski przełożyła

Natalia Gorbaniewska

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

трактат



Перевела с польского
Наталья Горбаневская

ARDIS

*Набор, макет и оформление
– трудами переводчика.*

Copyright © 1982 by Czesław Miłosz

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

ISBN 0-88233-828-5 Cloth
ISBN 0-88233-829-3 Paper



В С Т У П Л Е Н И Е

Пускай родная речь простою будет.
Пускай любой, едва услышит слово,
Увидит реку, яблоню, тропинку,
Как видишь в полыхании зарниц.

Однако речь не может быть картиной
И только. Издавна ее прельщает
Мелодия и рифмы колыбельность.
Неладно ей в сухом шершавом мире.

Сегодня часто спрашивают, что за
Смущение, с каким стихи читаешь,
Как будто автор с умыслом неясным
В них обращался к худшему себе,
Изгнавши мысль и обманувши мысль.

С приправой шутки, шутовства, сатиры
Поэзия ценителей находит,
Такой она понравиться способна.
Но те баталии, где ставка – жизнь,
Ведутся в прозе. Не всегда так было.

И до сих пор не высказана горечь.
Роман, трактат служебен, но не вечен.
Одно хорошее четверостишье
Томов трудолюбивых тяжелей.





І . П Р Е К Р А С Н А Я Э П О Х А

Дремали дрожки у Марьяцкой башни.
Уютный Краков в зелени лежал
Пасхальным свежекрашенным яичком.
В плащах широких важно шли поэты.
Никто не помнит нынче их имен.
Но руки их, они реальны были.
Над столиками запонки, манжеты.
На палке нес газету вместе с кофе
Официант – и канул безмянным.
Рахили в длиннохвостых шалях*, Музы,
Пригубивши, закалывали косу
Той шпилькой, что лежит сегодня в пепле
Их дочерей или в комоде подле
Умолкшей раковины. Ангелы модерна
В домах отцовских, по уборным темным,
Обдумывали связь души и пола,
Печали и мигрень лечили в Вене
(Сам доктор Фрейд, слышал я, галичанин).
У Анны Чилаг* отрастали кудри,
Блестали позументами гусары.
В горах носился слух, что Франц-Иосиф
Внизу, в долине, проезжал в карете.

Там наш исток. Напрасно отрицать,
На Золотой далекий век ссылаться.
Не лучше ли принять, признать своими
Усы колечком, набок котелок,
Побрякиванье дутого брелока.

Признать и песню над пивною кружкой
В суконно-черных заводских предместьях.
Уходят, чиркнув спичкой, на полсуток
Творить в дыму богатство и прогресс.

Рыдай, Европа, жди себе шифкарты*.
Под Рождество на рейде Роттердама
В молчанье станет судно эмигрантов.
К обмерзлым мачтам, словно к снежным елям,
Трюм вознесет молитву на мужицком
- Словенском или польском - диалекте.

Простреленная пулей, пианола
Играет. Пары буйствуют в кадрили.
Рыжа, толста, оттянутой подвязкой
Пощелкивая, развалясь на троне,
В пуховых туфлях тайна ожидает
Торговцев сальварсаном и резинкой.

Там наш исток. Иллюзион мигает:
Макс Линдер - плюх, с коровой в поводу.
В садах сквозь зелень светят лампионы.
И оркестрантки в трубы, в трубы дуют.

Свиваясь из сигарного дымка,
Из рук, колец, сиреневых корсажей,
Через поля, долины, горы вьется
Команда: "Vorwärts! En avant! Allez!"

То наше сердце залито известкой
В пустых полях, распаханых огнем.
Никто не знает, почему скончались
- Всё под кадрили - богатство и прогресс.

Как ни печально, там наш стиль рождается.
Под утро лира смиренная бряцает
В мансарде над шантанной погремушкой.
Как звездный хруст – эфирные напевы,
Ненужные купцам и их супругам,
Ненужные и в деревушках горных.
Они чисты, наперекор земному.
Они чисты и слов таких не знают:
Вагон, билеты, задница и деньги.

Учись читать, мечтательная Муза,
В домах отцовских, по уборным темным,
И знай отныне, что не поэтично.
Поэзия же – тайное волнение
И легкий вздох, укрытый в многоточьях.

Течет, струится непередаваемо,
Эрзац молитвы. Так и станет впредь
Простой порядок слов недопустимым.
"Фи, публицист. Уж говорил бы прозой".
Пока открытием авангардистов
Не станет износившийся запрет.

Не все поэты без следа исчезли.
Каспрович выл, рвал шелковые путы,
Не разорвал – они же невидимки,
Да и не путы, а нетопыри,
Что на лету сосут из речи соки.
Стафф, несомненно, был медвяно-ясным,
Русалок, ведьм и проливень весенний
Он славил мнимому же миру.
А что до Лесьмяна, тот был логичен:
Уж если это сон, так сон до дна.

Есть в Кракове короткий переулок.
Два мальчика там жили по соседству.
Когда один из школы возвращался,
Видал другого на песке с лопаткой.
Несхожи судьбы их, несхожа слава.

Огромный океан, чужие страны,
Коралловые отмели за рифом,
Где в раковину голый вождь трубит,
Познал моряк. И живо то мгновенье,
Когда в жаре безплодного Брюсселя
Он тихо шел по мраморным ступенькам
И возле "ҚО" компании звонок
Нажал и долго вслушивался в тишь.
Вошел. Две женщины на спицах нитку
Сучили – он подумал: словно Парки.
На дверь кивнули, скручивая пасмо.
Директор анонимно подал руку.
Вот так стал Джозеф Конрад капитаном
На Конго, по решению судьбы.
И Конго – место действия рассказа*,
Где слышащим давалось прорицанье:
Цивилизатор, очумелый Курц,
Владел слоновой костью в пятнах крови,
Кончал отчет о просвещеньи негров
Призывом к истреблению, вступая
В двадцатый век.

Об ту же, впрочем, пору
Подковки, ленты, пляски до утра
В подкраковской деревне, под волюнку,
И сотни лет игравшийся вертеп.

Неодолимой воли был Выспанский,
Хотел театра, как у древних греков.
Но не преодолел противоречья,

Что преломляет нам и речь, и зрение,
В неволю нас эпохе отдавая,
И мы уже не лица, а следы,
Не личности, а отпечатки стиля.
Подмоги нам Выспанский не оставил.

Наследье наше – памятник иной,
Воздвигнутый шутя, а не во славу.
Для языка по мерке, как частушка,
А для бесплотной мысли в поученье.
Остроты, чепуха, "Словечки" Боя*.

День угасает. Зажигают свечи.
Винтовочный затвор на Олеандрах
Не щелкает. Лужайки опустели.
Ушли эстеты в скатках пехотинцев.
Их кудри смел цырюльный подмастерье.
Стоит в полях туман и запах дыма.

Наполнит рюмки доктор. А она
У фортепьяно, при свечах, в лиловой
Буали, напевает эту песню,
Что нам звучит, как весть из ниоткуда.

*Отголоски далекой кофейни
Оседали на мертвый висок.*





II . С Т О Л И Ц А

Чужой ты город на песках сыпучих,
Под православным куполом Собора,
Твоя погудка - ротная побудка,
*Кавалергард, солдат всех выше**,
Тебе из дрожек ржет "Аллаверды".
Так надо оду начинать, Варшава,
Твоей печали, нищете, разврату.
Окоченелю рукой лотошник
Отмеривает семечки стаканом.
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.

На Черняковской, Гурной и на Воле*
Уже шуршат оборки Черной Маньки,
Уже она в парадном подмигнула.

Тобою, город, Цитадель владеет.
Прядет ушами кабардинский конь,
Едва послышится "Смерть вам, тираны!"

О луна-парк привислинского края,
С губернией тебе бы управляться.
Но стать теперь столицей государства,
Теперь, в толкучке беженцев с Украины,
Распродающих уцелевший скарб?

Палаш да ржавый карабин французский -
Вооруженье для твоих баталий.
Против тебя, смешная, все бастуют:
И в Златой Праге, и в английских доках.

В отделах пропаганды добровольцы
Строчат ночами о грозе с востока,
Не зная, что над гробом им сыграют
На хриплых трубах "Интернационал".

И все-таки ты есть. И с черным гетто,
И со слезами женщин в довоенных
Платках, и с сонным гневом безработных.

Шагая взад-вперед по Бельведеру,
Пилсудский не уверует в стабильность.
"Они на нас, - твердит он, - нападут".
Кто? И покажет на восток, на запад.
"Я бег истории чуть-чуть затормозил".

Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.
Как это было? - спросит поколение.

А после не останется ни камня
В том месте, где ты был когда-то, город.
Огонь пожрет истории прикрасы*.
Как грошик из раскопок, станет память.
Но поражения твои вознаградятся.
Как знак того, что только речь - отчизна,
Вал крепостной тебе - твои поэты.

Поэт нуждался в доброй родословной.
От набожного цадика, к примеру.
Родители, Лассалья начитавшись,
Клялись Прогрессом и берлинской Lied
И выколачивали красоту.
Бывали захудалей: из мещанства,
Из безземельной шляхты, даже немцы.

Не снилось им, гудя "Под Пикадором",
Как горек на укус лавровый лист.
Тувим на вечерах в глухих местечках
Кричал, раздувши ноздри: "Ça ira!"
Взрывался зал туземной молодежи
На ветхий звук запрошлого столетья.
Энтузиастов – тех из них, кто выжил, –
Тувим увидит на балу ГБ.
Кольцом замкнулась огненная цепь,
Бал у Сенатора* вовеки длится.

Весну, не Польшу поджидал весною*,
Топча бывшее, Лехонь-Герострат.
Однако жизнь его прошла в раздумьях
О слущих поясах, о кармазине
Да о религии: не о католицизме,
Но – просто польской. Для национальной
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота*.

А что Слонимский, грустный, благородный?
Грядущее он лел, ему вверялся
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,
Но Царство Разума вот-вот наступит.
Под Небом Разума кровоточащим
Он и под старость внуков одарял
Надеждой бородатой: мол, увидят,
Как Прометей спускается с Кавказа.

Из камушков цветных слагал именье
Делам публичным чуждый Ивашкевич,
Поздней оратор, он же гражданин,
Суровой неизбежности покорный.
Релятивистом быть, ведь все проходит,
И – стать герольдом доблестей славянских,
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, –
Есть меланхолия в такой судьбе.

Но одиночество в глуши заморской
Не лучше – разве что для честолюбья.
Извечен птичий крестик на снегу.
Не ранит время и не исцеляет.
В окно к Вежинскому заглянет сойка,
Сестрица голубая прикарпатской.
Такою-то ценой платить придется
За юность – за вино и за весну*.

Такой плеяды не было вовеки.
Но в речи их поблескивала порча,
Гармония у них пошла от мэтров.
В их обработках не было помину
О гомоне сыром простых вещей.

А там бурлило, там бродило глубже,
Чем достает отмеренное слово.
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился
С чахоточным румянцем на щеках.
И, как позднее честных коммунистов,
Он искушал тогдашних воевод.
Закашливался. В крике был второй,
Замаскированный: что общество людское
Само уже есть чудо из чудес,
Что мы едим, и говорим, и ходим,
А вечный свет для нас уже сияет.

Как те, что в радостной, пригожей деве
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, –
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.
Но мыслил он – как рифмовал, банально,
Истертым ассонансом прикрывая
Видения, которых он стыдился.

Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,
Тот слышит стук и плач несчастных духов,
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине
И тщащихся дать знать, что их рукой
Любой предмет из хаоса был добыт,
Часы тоски, отчаяния, муки
В нем поселились и уж не исчезнут.
Тогда пугается перо держащий,
Неясное питает отвращенье,
Былую ищет обрести невинность,
Но ни к чему рецепты и заклатья.

Вот отчего младое поколение
Умеренно любило тех поэтов,
Им почести воздав, но не без гнева.
Оно с тех пор программно заикалось:
Заика-де высказывает смысл.

Не в милости у них был и Броневский,
Хоть что-то – необузданно, подпольно –
Слагал в стихи для пролетариата.
Однако дубликат Весны Народов –
В конце концов такое же бельканто.

А им мерещился Уитмен новый.
В толпе извозчиков и лесорубов
Он превращал бы повседневность в солнце.
Вибрируя в рубанках и долотах,
На всю-то он вселенную сиял бы.

Авангардистов было очень много.
Достоин восхищенья только Пшибось.
В труху распались нации и страны,
А Пшибось тем же Пшибосем остался.
Ему безумье сердца не изъело.
По-человечески его легко понять.
В чем его тайна? В Англии Шекспира
Уже возник такой помпезный стиль,
Что признавал метафоры и только.
В душе был Пшибось рационалистом.
В эмоциях не выходил за рамки
Разумной социальной единицы.
Равно ему чужды печаль и юмор.
Хотел он раскрутить статичный образ.

Авангардисты, в общем, заблуждались,
По краковскому старому обряду
Приписывая слову ту серьезность,
Что не снесет оно, не став смешным.
Но, челюсти сжимая, замечали,
Что говорят они натужным басом
И что мечта их о народной силе –
Уловка уstraшенного искусства.

А глубже – то была пора раскола.
"Бог и Отчизна" больше не пленяли.
Сильней, чем встарь филистера богема,
Поэт улана ненавидел, флаги
Осмеивал и презирал мундиры,
Плевал, когда со стэками юнцы
Визжа гнались за купчиком в ермолке.

Финал заранее был уготован
Не за нехваткой пушек или танков.
Авангардисты, рационалисты,
А все поэты в Польше – как барометр.
Соборная распалась, скажем, ценность,
И вера общая людей не едина.

Кто сознавал – в иронию скрывался
И жил на островке, среди своих.
Кто сознавал острее – внушал себе же,
Что если чтит кумиров, то с народом.

Галчинский рвался падать на колени.
Его история полна глубоких истин,
И главная: без общества поэт –
Как ветра шум в сухих декабрьских травах.
Не для него сомнения, иначе
Схлопочешь вмиг предателя клеймо.
Да будет сказано, в конце концов,
Что Партия – наследник ОНР'а*,
А кроме них, была сплошная пустошь
Да жалкий бунт презренных единиц.
Кто Болеславов меч извлек из тлена?
Кто мыслью вбил быки в корыто Одры?
Кто сделал из страстей национальных
Устойчивый цемент великих строек?

Галчинский все связал одним узлом:
Смех над буржуем, польскую "Хорст Вессель"
И гордость, что и мы – мы тоже скифы.
Он был равно прославлен в две эпохи.

Иная связь Чеховича с землею.
Укропа грядки, ветхие застрехи,
Как зеркальце – привислинское утро.
Разносит эхо по росе куявяк
Вальков да прачек подле ручеечка.
Он малое любил, он сны собрал
Земли аполитичной, беззащитной.
О птицы и деревья, от забвенья
Могилу Юзя в Люблине храните*.

Не нацию желал, а сто народов
Затронуть Шенвальд. Хоть и сталинист,
Умел у Маркса черпать и у греков.
То нарисует сцену у ручья,
Где школьная экскурсия встречает
Босых, крадущих хворост ребятишек,
А то покажет, как велосипед
Овеял счастьем парня из барака.
Поэзия – не функция морали.
Вот Шенвальд – лейтенант-красноармеец.
Когда по лагерям полярным стыли
И стекленели трупы ста народов,
Прекраснейшими польскими стихами
Писал он оду Матушке-Сибири.

А школьник по крутому тротуару
Уносит книгу из библиотеки.
А книга эта – пухлый том Майн-Рида,
Засаленный ладошками индейцев.
Косой закат в лианах амазонских,
Волной сносимы, распростерты листья,
Что выдержат и тяжесть человека.
Он, фантазер, плывет на этих листьях,
И, бурые, как войлочный орех,
Над ним мостом сплетаются мартышки.

А он, поэтов будущий читатель,
Кривых плетней и серых туч не видит,
Уже готовый жить в стране чудес.
И, если обойдет его погибель,
Он нежность сохранит к проводникам.
А Ивашкевич, Лехонь и Слонимский,
Вежинский и Тувим навек пребудут
Такими, как их в юности он встретил.
Кто больше да кто меньше, он не спросит,
Охотясь в каждом за иным оттенком,
Ведя челнок по Амазонке звезд.

Там ту же ложку супа в рот заросший
Людского голода вливает Виттлин*.
Балинский слышит бубенцы верблюдов
В розово-серый исфаганский вечер.
Там Тит Чижевский вторит заклинанью
Трубящих над Младенцем пастухов.
Корабль в витрине созерцает Важик,
И искрится волна Аполлинера.
Там раздаются трели нашей Сафо,
Какой еще не знала наша речь,
Оршули Кохановской* воскрешенной.
Сотрется жизнь, но кружится пластинка.
Давно забыв о бархате Карузо,
Играет жалобу Марии Павликовской,
Предсмертное ее "*Per che? Per che?*"

Так не напрасно ссохлась кровь улана
Для муравьев подарком под березой?
Не так уж, значит, стоит осужденья
Заботившийся только о границах
Пилсудский? Он купил нам двадцать лет,
Тянул он шлейф грехов и обвинений,
Чтобы прекрасное созреть успело.
Прекрасное – такая, скажут, малость.

Читатель, ты не заживешь по-райски.
Страна эта прекрасна и обильна,
Да нетверда, как брезжащий рассвет.
Мы что ни день ее воссоздаем
И больше уважаем, что реально,
Чем что застыло в звуке и в названии.
И силой – она вырвана у мира.
А без усилия – не существует.
Прощай, прошедшее. Стихает эхо.
И нашей речи быть кривой, корявой.

Последние стихи эпохи шли
В печать. Их автор, Владислав Себыла,
Под вечер вынимал из шкафа скрипку,
На полке с Норвидом футляр оставив,
И железнодорожного мундира
Тогда он не застегивал петлицы.
В своих стихах, подобных завещанью,
Отчизну он сравнил со Святовидом.
Все ближе, ближе барабанный рокот
С равнин восточных, с западных равнин,
А ей все снится пчел ее жужжанье
В полдневный зной, в садах у Гесперид.
За это ли Себылу под Смоленском
В лесу зароят, прострелив затылок?*

Прекрасна ночь. Высокая луна
Переполняет небо тем сияньем
Особенным, сентябрьским. Скоро утро.
И воздух тих над городом Варшавой,
И серебристые аэростаты
Стоят недвижно в побледневшем небе.

Процокают у Тамки каблучки,
Призывный полушепот, и в бурьянник
Уходит парочка. В тени незримый,
Молчит дежурный, только ухо ловит
Их слабый смех в густой постели мрака.

Ни жалость одолеть он не умеет,
Ни выразить их общую судьбу.
Рабочий и простая поблядушка
Перед ужасным восходящим солнцем.

И, может, поразмыслит он позднее,
Что стало с ними в днях или веках.





III . Д У Х И С Т О Р И И

Когда со статуй краска опадает,
Когда законов буква опадает,
Сознание голо, как зеница ока.

Когда на сталь, на съезженные листья
Летят огнем из книг сухие листья,
Добра и зла ничем не скрыто древо.

Когда на грядках гаснет крыл холстина,
Когда трещит железо, как холстина,
Солома остается да навоз.

По колким стежках, в рощах мазовецких,
В песке меж Губернаторством и Рейхом,
Ступают ноги плоские крестьянки.
Пристанет, на сосёнку обопрется,
Занозу вынет из подошвы пыльной,
И масляный брусок в тряпице мокрой
Музейно снимет слепок со спины.
У переправы бой, квохтанье кур,
Из кузовков повысунулись гуси,
А в городах прочиркивают пули
По плитам, по кисетам с табаком.
И в пригороде, в глиняном карьере,
Всю ночь кончается старик-еврей,
Лишь на рассвете вой его утихнет.

Седая Висла омывает лозы
И сносит камешки, катясь широко.
И хлюпают колеса парохода,
Набитого мешочниками. Шест
В течение тычет Стасек или Генек,
Покрикивая: "Метар! Метар двадцать!"

Где дым от крематория клубится
И где по деревням звонят к вечерне,
Гуляет Дух Истории довольный.
Милы ему после потопа страны,
Готовые принять любую форму.
Мелькает на задворках та же юбка
В Аравии, и в Индии, и в Польше.

Он по небу распластывает пальцы.
Под ними едет на велосипеде
Организатор сети контрразведки,
Кругов военных лондонский посланец.
Внизу, как жито, мелки осоки,
Ведущие от дома до усадьбы,
А там сидят, усталые, в столовой
Ребята в офицерских сапогах.
Усы возниц запорошило пылью.

Поэт его узнал уже, увидел,
Злобога, у которого во власти
И время, и судьба поденок-царств.
Его лицо размером в десять лун,
На шее бусы из голов кровящих.
Кто не признал его – жезлом задетый,
Заговорится и утратит разум.
Кто поклонился – будет лишь слугою,
Ему презреньем господин оплатит.

Венки лавровые, лужайки, лютни!
Куда вы делись, дамы и князя!
Вас можно было распотешить лестью,
В припрыжке ловкой кошелек словить.
Он жаждет большего – души и плоти.

Кто ты, Властитель? Долги эти ночи.
Не ты ли ведом нам как Дух Земли,
Что сбрасывает гусеницу с груши
На прокормление черному дрозду?
Что дохлыми жуками устилает
Постельку луковицы гиацинта?

Губитель, ты и он – одно и то же ль?
Он, неотступный, он, товарищ верный.
Как часто нашей он водил рукою
По гладкой шее и спине девичьей,
Когда бредут в июльский вечер пары
Лугами к озеру под запах сосен,
Гармоника наигрывает небыль
Про острова влюбленных в океане.
Теперь мотив забыт, и вспомнить страшно.
Как часто он же нам, краса и слава,
Ликующий тетеревиный клич,
Иронией умел скривить улыбку,
Нашептывая, что весенний воздух,
Трель соловья и наше вдохновение –
Всего лишь его щедрая наживка,
Чтоб совершалось продолжение рода,
Что кровь остынет и, покрыты ржою,
В гниющем пурпуре мы погрузимся
В тот прах, что миллионы лет копился,
Где нас заждался прадед-питекантроп.

Скажи, в разумном гегелевском фраке
Любитель диких ветреных сторонок,
Ты что же, имя поменял – и только?

Подпольные листки в холщевой сумке.
Позту слышен смех его могучий:
Я в наказанье разума лишил их.
Никто не встанет мне наперекор.

Где слово, что грядущего достигнет,
Где слово, что спасет людское счастье,
Которое так пахнет теплым хлебом,
Когда язык поэзии не знает
Того, что выпало потомкам поздним?
Мы не обучены, не представляем,
Как слить Свободу и Необходимость.

К двум крайностям во сне клонится ум.
Погибель неземных и осиянных:
Ища небес, материю презрели.
В ней радость, сила жизни и тепло.
Погибель грузных и благоразумных:
Рассветную звезду во лжи утопят –
Тот дар, что выше смерти и природы.

Подпольные листки в холщевой сумке.
Крошится пропагандная поэма.
Не зная, что к чему, звучит фальшиво.
От сильных чувств поэзия смолкает,
Еще твердит далекие призывы,
Но содержание ей не в подъем.

В наш век есть то, чего не увидали
Двадцатилетние варшавские поэты, –
То, что идеям сдастся, не Давидам
С прашою. У больничного порога
Вот так стремишься только раз, последний,

Понять и смех детей, и птичье пенье,
Пока еще не заперты ворота,
И, к завтрашним решениям равнодушный,
Ты цепко верен нынешней минуте.
Над старой баррикадой не вставляли
Народов зори и заветы предков.
Стояла раненая Богоматерь
Над желтым полем и венком polegших.

Те юноши растерянно касались
Стола и стула утром, словно в ливень
Нетронутый находишь одуванчик.
Для них дробились в радугу предметы,
Размытые, как в отошедшем прошлом.
Возможность славы, мудрости, покоя
Они своей молитвой отвергали.
Все их стихи – о мужестве молебен:
"Когда мы будем изгнаны из жизни,
Наш дом златой, в постель из малахита
Ты на ночь нас – на вечную – прими".
И ни один герой у древних греков
Не шел на битву так лишен надежды,
Воображая свой бесцветный череп,
Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник? *
У памятника пал с венком Боярский.
Должна быть жертва чистой и бесцельной.
Тшебинский, этот новый польский Ницше,
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,
Запомнил стену, медленные тучи,
Секунду глядя черными глазами.
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.
Восстание спугнуло голубей.
Строинский, Гайцы были взнесены
В багрянец неба на щите разрыва.

С гусиных перьев капелькой чернильной
Свет дня еще под липой не скатился.
Все тот же в книгах царствовал порядок,
Уверенный, что зримая краса
Есть зеркальце для красоты творенья.

В полях живые от себя самих
Бежали, зная, что столетье минет,
Пока вернутся. Впереди зыбучий
Песок, где превращаются деревья
В ничто, в анти-деревья, где границ
Нет между формами, где напрочь рухнул
Тот дом златой, то слово БЫТИЕ,
И – СТАНОВЛЕНИЕ с этих пор у власти.

Им плечи гнула прожитая трусость:
Никто не рвался погибать бесцельно,
Но, гибели боясь, утратил цель.
А он, предсказанный и долгожданный,
Дымил над ними тысячей кадильниц.
К нему ползли они по хлябям на поклон.

"О века Царь, Круговорот безмерный,
Ты наполняешь гроты океана
Беззвучным шумом, ты живешь в крови
Акулами сжираемой акулы,
Ты слышен в посвисте летучей рыбы,
В железном грохоте и гуле скал,
Когда вздымаются архипелаги.

Прибой грохочет, унося пожитки,
Жемчужины суть кости, с коих соль
Сняла парчу и царские короны.
О Безначальный, о переходящий
Из формы в форму, о поток, о искра,
О антитезис, зреющий во чреве
У тезиса. Вот стали мы как боги,
В тебе поняв, что мы не существуем.

Ты, в ком с причиной следствие сошлось,
Ты вывел нас из глубины, как волны,
В единый миг безбрежной перемены,
Открыл нам боль двадцатого столетья,
Чтоб мы взойти смогли на высоту,
Туда, где держишь ты штурвал вселенной.
Помилуй нас. Грехи наши огромны.
Мы забывали твой закон. Невеждам
Прости и яко верных нас прими".

Так присягали, но упорно втайне
Надеялись, что время – арендатор
Не на века. В один прекрасный день
Дано им будет на побег цветущий
Глядеть одну безмерную минуту,
Закрыть клепсидру, убаюкать волны
И маятника слушать замиранье.

Когда обмотают мне шею веревкой,
Когда мне дыханье отнимут веревкой,
Качнусь я по кругу, и кем же я буду?

Когда меня в ребра уколют фенолом,
Когда я шагнуть не смогу под уколом,
Какую ж я мудрость пророков добуду?

Когда разорвут наши руки навеки,
Когда разорвут наши зори навеки,
Никто их на небе не свяжет обратно.

А я, кроме сердца, что вот-вот умолкнет,
А я, кроме слова, что вот-вот умолкнет,
Не знаю ни дома, ни сына, ни брата.

Поэт облакам угрожал в нашем гетто,
Бросал я монетки в ладони поэта,
Чтоб песня до смерти осталась со мною.

На камерной стенке долбил я ночами
То слово любви, чтоб до века скончанья
Оно вокруг солнца кружило с тьermoю.

В жестянку, в жестянку в такт песенке бил я,
И нет меня, нету, а там еще был я,
Где наша дорога свернула к застенку.

И в день покаяния, в день ли прощенья,
Быть может, отроют, откроют в защельи
Мой след, мой дневник, замурованный в стенку.

Земля истребленья, гибели, злобы,
Она не очистится силою слова,
Не уродить ей такого поэта.

А если б один и нашелся единый,
Мы вместе за проволоку с ним уходили,
Избранником было бы детище гетто.

Славянской сельской неуклюжей речи
Пришлось—таки изрядно потрудиться
Над рифмой безымянного напева,
Что и поныне в воздухе дрожит
И там, где в пальмы белый бьет прибой,
И там, где встали пихты штата Мэн
И в ледяные воды Лабрадора
Скопа ныряет. А напев был прост.
Тот мадригал, что прежде под виолу
Девицам пели во саду зеленом,
Впервые прозвучал наоборот.

*Зима пройдет**

Единственная мстительная радость
Еврейских девушек на тяжком марше.
Да, скоро ночью журавли промчатся,
Лежалый снег не будет ранить руки.
Да, у ручья на гравии стопа
Розовощекой галькой захрустит.

Весна придет

Да, буйным соком набегут тюльпаны,
В окно жужжа ударит майский жук.
Да, юноша сплетет своей невесте
Венок из молодых дубовых листьев.

Тогда из нас

Из нас – ведь мы теперь одно и то же.
Кость, мясо, нервы – наши, не мои.
А имена Рахиль, Мирьям и Соня
Угаснут и остынут на ветру.

Трава взойдет

Трава, побитая иронией напева.

Заквашены огурчики с укропом
В посуде запотелой. Вот что вечно.
И хворост в очаге трещит с утра.
Некрашенные ложки в миске с суиом.
В сенях берешь корзины и мотыги
Под стенкой, под куриное квохтанье.
И – по меже. И ни конца, ни края.
Туманно, плоско аж до Скерневиц.
Туманно, плоско дальше до Урала.
Эй-эй, не уставай, не скоро полдень.

*В легкую нанку одевшись по моде,
Юных и светских сзываю соседей;
Мн, наряжающихся, утро проводим
Иль предаемся веселой беседе.**

Над глиной, над картофельной ботвою
Порхнет снежинкой, искрой самолет
И кувыркнется высоко за тучей.

*Ну-ка, кто о чем тут страждет?
Кто тут алчет? Кто тут жаждет?*

В горчичных зернах больше нет нужды.
Поэзия живет в фарфоре теплом,
И служит ей Харит прелестных стайка,
Смысл извлекая из античных зелий.
Попыхивая люлькой, в легкой нанке,
Пушай бы снова помечтал поэт.
Был дом бревенчат, но на камне ставлен.

Лежали там "Федон" и "Жизнь Катона".
А если в доме том в канун субботы
Затепливали дедовский подсвечник –
Из ритмов Даниила и Исайи
Звучал навеки памятный урок
Цены молчания и правил стихотворства.

Венчает замок гору в Новогрудке.

Нужны ручьи, лесистые пригорки,
А здесь не защитится человек.
Пустые горизонты озирая,
Он не поверит, что стоит в середине,
И в путь пойдет за движущейся тенью.

Кто не рожден в том полевом краю,
По морю уплывет, уйдет по суше
Под яблонями рейнскими искать,
Ловить под мэнской пихтой отраженье
Черно-зеленых рек своей отчизны.
В столпотворенье незнакомых лиц
Так гонишься за некогда любимым.

Пожалуй, трудноват для нас Мицкевич.
Куда нам до наук еврейских, панских.
Мы там за плугом аль за бороной.
Не та нам в праздник музыка играла.

*Го-ля о-ля
настухи-та с поля
утки в дудки
настухи до будки
йдите-ка до хлева
там Святая Дева
и Григорий эконо
со чернилицей с пером*

Бурчит, буркочет брюхо контрабаса:

*гуду-гуду-ду
играю-граю-у
Пану Богу Христу Пану
граемо ему*

А скрипка липовая тоненько пищит:

*тили-тили тели-тели
заиграли та запели
чили-ли чели
до звезды сочельной*

Волынку мнет и дует старый Гжеля:

*ме-э-э-ле ме
козу-бе козу-ме
дули-гудули
до моей козули*

А с ним вперегонки дудит кларнет:

*муля-уля уля-ля
матуленька-матуля*

И контрабас, подтягивая, вторит:

*Пану Богу
Христу Пану
граемо Ему*

Так многое, так много миновало.
Но что литература не спасла -
Нам Тит Чижевский возвратил колядкой.
И контрабас не молкнет, как не молк.

Я высыпал табак, скрутил цигарку
И чиркнул спичкой в домике ладони.
А почему не трут и не кресало?
Дул ветер. В полдень я сидел и думал
На том краю картофельного поля.





IV . П Р И Р О Д А

Отворяется сад природы.
На пороге трава зеленеет.
Зацветает миндаль.

Sint mihi Dei Acherontis propitii!
Valeat numen triplex Jehovae!
Ignis, aeris, aquae, terras spiritus,
Salvete! - гость говорит.

Живет у яблони в хоромх Ариэль,
Но не придет дрожать крылом осиным.
И Мефистофель, нарядясь аббатом
Доминиканским или францисканским,
С тутовника не спрыгнет в пентаграмму,
Начерченную тростью на дорожке.

Но в розовых молчащих колокольцах
Взбирается на скалы рододендрон.
Колибри, как воздушная юла,
Повисла - сердце сильное движенья.

Коричневою капелькой потеет
На терние насаженный кузнечик,
Не ведая ни пыток, ни закона.
Что делать тут тому, кого зовут
Верховным чудищем и чудодеем,
Сократом слизняков, судьей иволг

И музыкантом вишен, - человеку?
Способна выжить индивидуальность
В картинах, в статуях - в стихии гибнет.
Сопровождать ему гроба лесничих,
Которых скинул горный черт, козел
С кольцом рогов над выгнутым загравком.
На кладбище гарпунщиков ходить:
Копье вбивая в плоть левиафана,
Они в жиру кишок секрет искали -
Энергия, остыв, волной вскипала.
Распутывать загадки докторов
Алхимии: они почти достигли
Разгадки, то есть власти, и исчезли
Без рук, без глаз, да и без эликсира.

Тут солнце. Тот же, кто поверил с детства,
Что акт и действие понять довольно
И повторяемость вещей порвется, -
Унижен и в чужой сгнивает коже.
Ошеломленный бабочкою яркой,
Он чужд искусству, безъязык, бесформен.

Я весла обвернул, чтоб не скрипели
В уключинах. А от Скалистых Гор,
Небраски и Невады шли потемки,
Заглатывая лес материка.
Отражены предгрозовые тучи,
Пролеты цапли, и торфяник топкий,
И черный сухостой. За лодкой следом
Вновь строила утопия мошки
Сияющие своды. Погружалась
Тень лилии под борт, прошелестев.

Чем ближе ночь, тем пепельней тона.
Играйте, музыканты, но не громче,
Чем ход часов. Я жду своей минуты.
Моя столица на бобровых гонах.
Вся в бороздах озерная вода,
Ее вспахал чернильный месяц зверя,
Взошедший ввысь из пузырьков метана.
Нематерьяльным быть мне не дано.
Мне не глядеть таким бесплотным взглядом.
И мой звериный дух гудит сиреной,
Сияет радугою, спугивает зверя.
Плеснулось эхо.

Но остался я
В высокой, мягкой бархатной укладке
И властвую над тем, что захватил:
Над шлепаньем четверопалых лап,
Над отряханьем шубки в коридоре.
Не знает он ни времени, ни смерти,
Я – выше: я-то знаю, что умру.

Я помню всё. Ту базельскую свадьбу.
Струна виолы вздрагивает. Фрукты
На серебре. И опрокинут кубок
На шестерых, как принято в Савойе,
Вином текущий. Язычки свечей
Неверны, шатки в дуновеньи с Рейна.
С белеющими косточками пальцы
Запутывались в петлях и крючках.
Упало платье шелковой скорлупкой
С ядреного литого живота.
На шее цепь звенела вне эпохи,
В колодцах, где со ржою завещаний
Ржжь кесарей сплелась и птичий крик.

А может, это за семью морями
Одна любовь моя. Навязчивой идеей
Нечистой закрыт туда мне доступ.
А ставень и собаки на снегу,
Свист паровоза и сова на ели
Исчезнут из припоминаний ложных,
И вымолвит трава: да было ль это?

Плеснет бобер в ночи американской,
И вот уж память больше целой жизни.
Еще звенит луженая тарелка
На выщербленном каменном полу.
Таис, Белинда, юная Джульетта
Под лентой прячут шерстяное лоно.

Принцессам – вечный мир под тамариском.
В их крашенные веки бил самум,
Пока не свили тело кушаками,
Пока пшеница в склепе не уснула,
Не смолкли камни и осталась жалость.

Вечор шоссе змея перебегала.
Вилась, помята шиной на асфальте.
А мы – мы и змея, и колесо.
Два измеренья есть. Тут, на границе
Не-жизни с жизнью, правда существа
Непостижимая. Сошлись прямые.
Два времени над временем скрестились.

Без языка, без формы ужаснется
Он перед бабочкою – он, непостижимый.
Что бабочка, оставшись без Джульетты?
И что Джульетта без ее пылицы
На животе литом, в глазах и косах?
Ты скажешь – царство? Мы в него не входим,
Хоть и не можем выйти из него.

Надолго ли еще достанет мне
Абсурда польского с поэзией аффектов,
Неполностью вменяемой? Хотел бы
Я не поэзии, но дикции иной.
Одна она даст выражение новой
Чувствительности, что спасла бы нас
И от закона, что не наш закон,
И от необходимости не нашей,
Хотя б ее мы нашей называли.

Из лат разбитых, из глазниц пустых,
Приказом времени обратно взятых
В распоряжение плесени и гнили,
Растет надежда: воедино слить
Бобровый мех и камышовый запах,
Ладонь, что опрокидывает кубок,
Вином текущий. И к чему же крики,
Что историчность суть уничтожает,
Когда она-то и дана нам, Муза
Седого Геродота, как оружие
И инструмент? Хоть не всегда легко
Использовать ее и так усилить,
Что снова, словно золото в свинце,
Она послужит людям во спасенье.

Так размышляя, в центре континента,
Я греб во тьме сквозь вязкую осоку,
Воображая оба океана
И качку фонарей сторожевых
Судов и зная, что не только я
Нашел зерно неназванного завтра.
И в такт тогда слагался вызов, чуждый
Для шелестящей шелковой ночнянки:

*О Общество, о Город, о Столица!
Растворенным зияя дымным чревом,
Ты не накормишь нас своим напевом.
Чем ты была, тому не воротиться.*

*Ты слишком предалась самодержавью
Бетона, стали, пакта и закона.
Тя нам были пример и оборона,
Для нас росла и в славе, и в бесславье.*

*Где оказался наш союз разорван?
В огнях войны, во вспышках звезд падучих
Иль в сумерки, в пустыне рельсов, в тучах,
Когда бежали башни с горизонтом*

*И хмуро вглядывалось в отраженье
Лицо девичье узкое и четок
Были ленты взмах над чащей папильоток
В окне, под паровозное круженье?*

*Твоя стена – теней стеною стала.
Твой свет угас. Не монумент надменный
Под солнцем изменившейся вселенной,
Но наших рук создание устояло.*

*Сквозь ширмы, занавески, позолоту,
Прорвав портреты, зеркала и стены,
Выходит человек, нагой и смертный,
Готовый к правде, к речи и к полету.*

*Приказывай, Республика. До слёз
Испробуй все свое очарованье.
Но он идет, как стрелка часовая.
И смерть твою уже с собой принес.*

*Я шел по лесу, вёсла на плече.
Мне вслед зафыркал дикобраз из сучьев.
Присутствовал и филин, мой знакомый,
Эпохе неподвластный и пространству,
Все тот же самый Vubo из Линнея.*

Америка моя – в шерсти енота,
С его глазами в черных ободках.
Бурундучком в валежнике мелькает,
Где повитель над черною землею
Свила лириодендрона стволы.
Ее крыло – окраски кардинала.
Клюв приоткрытый – как из-под куста
Шипит, в пару купаясь, пересмешник.
Стеблистость мокасиновой змеи,
Переправляющейся через реку.
Она гремучкой под цветами юбки
Совьется в грудь крапинок и пятен.

Америка мне стала продолженьем
Преданий детства о глубинах чаши,
Повествовавших под пенье прялки.
И, заводя square-dance'a хоровод,
Играют скрипки, как в Литве играли.
Моя танцовщица – Бируге Свенсон,
Из Ковно родом, замужем за шведом.
И тут ночная бабочка на свет
Влетает, в две ладони шириною
И глянцево-прозрачно-изумрудна.

А почему бы нам не поселиться
В природе, пламенистой, как неон?
Не задает ли нам работы осень,
Зима, весна и мучающее лето?
Нам не расскажут воды Делаваара
Ни о дворе блестящем Сигизмунда,
Ни об "Отъезде греческих послов"*.
И, не разрезан, Геродот пылится.
И только роза, символ сексуальный,
Она же символ неземной любви,
Откроет неизведанные бездны.
О ней-то мы во сне напев услышим:

*В глубинах розы есть дама златые,
Ручьи льдяные, черные протоки.
Персты рассвета на вершинах Альп,
А вечер с пальм стекает на заливы.
А если кто умрет в глубинах розы,
То вереница всемых плащей
Дорогой пурпурной несет его с горы,
Дымятся факелы в пещерах лепестков,
И будет он схоронен в недоступной
Завязи цвета, у истока вздоха,
В глубинах розы.*

Пусть месяцев названья то и значат,
Что значат. Да ни в коем залп "Авроры"
Не длится. И ночной бросок хорунжих*
Ни одного не заразит. На память
Пускай хранится, как в шкатулке веер.
И почему бы на столе дощатом
Нам не писать по-старосветски оды
И славить звездный календарь, сгоняя
Жука с бумаги кончиком пера?

Ода

*О октябрь!
Ты мое истинное наслаждение.
О месяц клюквы и кленов багряных,
Гусей, летящих в воздухе чистом с Гудзонова залива,
Сохнущей повилики и увядающих трав.
О октябрь.*

О октябрь!

В тебе живет тишина дорог, усталых хвоей,
И причитанья собак, напавших на след.
И в тебе же игра на пищалке из совиного крылышка
И трепыханье птицы, еще не упавшей в бор.
О октябрь.

О октябрь!

Ты ином белым сверкаешь на шагах,
Когда за Вест-Пойнтом, с поросшей вьюнком скалы,
Польский артиллерист* зрит многоцветную чащу
И кафтаны кленовые английских солдат,
Пробирающихся по тропе Аппалачей.
О октябрь.

О октябрь!

Холодно твое хрустальное вино.
Терпок вкус твоих губ над рябиновым ожерельем.
На твоих задыхающихся боках
Пепельная шкура горного оленя.
О октябрь.

О октябрь!

Росою остывающий ржавые следы,
В буйволовый рог трубящий над привалом повстанцев,
Босую стопу обжигающий на покатой меже,
Где клубится картофельный и пушечный дым.
О октябрь.

О октябрь!

Ты порх поэзии, то есть полной решимости
В любое мгновение жизнь начать сначала.
Ты даешь мне волшебное кольцо, и, повернуто,
Оно светит вниз никому не видимым бриллиантом свободы.
О октябрь.

Нам многое, да, многое припомнят.
Отвергли мы спокойствие молчанья,
Достойных уваженья размышлений
О мировых структурах. Вечной теме
И чистоте мы были неверны.
И хуже – пыль событий и имен
Мы что ни день словами ворошили,
Тревожась мало, что она угаснет
Мильоном искр, и вместе с нею мы.
Даже бесславье, принятое нами,
Как будто было умысла не чуждо,
И нехотя, но мы платили цену.

Когда себя ты знаешь – признаёшься,
Что был как тот, кто слышит голоса,
Не разбирая слов. Отсюда злость,
Подошва, выжимающая скорость,
Как будто можно от галлюцинаций
Бежать. Свою незримую веревку
Влачили мы, гарпун спиною чуя.

И всё же обвинители ошиблись,
Печальники о зле эпохи нашей,
Принявши нас за ангелов, что в бездну
Низвергнуты, и там, из этой бездны,
Грозятся кулаком делам Господним.
Да, многие сошли на нет бесславно,
Открывши относительность и время,
Как химию неграмотный открыл бы.
Другим – одна обкатанная галька,
Подобранная около реки,
Дала урок. Достаточно мгновенья,
Набухших кровью жабер окунька,
Пропаханной бобровой борозды
По спящей тоне, под безлунным небом.

Ведь созерцанье без отпора гаснет -
Его и сам отвергнет созерцатель.
А мы - наверно, были мы счастливей,
Чем те, кто в Шопенгауэра книгах
Печали черпал, слушая в мансарде
Назойливые отзвуки шантана.
И философия, поэзия, деянье
Нам не были, как им, разделены,
В одну сливаясь - волю? иль неволю?
Подчас горька, а все-таки награда.

Пусть, заблудясь, в истории застряв,
Не обречем венца и вечной славы.
Ну, так и что? У них и мавзолей,
И памятники, но в весенний дождик
Для юной пары под одним плащом
Их совершенство ничего не значит.
А слово, что останется, - осталось
Воспоминаньем приоткрытых губ:
Хотели вымолвить, да не успели.

О духи воздуха, огня, воды,
Пребудьте с нами, но не слишком близко.
Винт корабля от вас уж отделился.
Проходим зону чайки и дельфина.
И ожиданье, что Нептун с трезубцем
И nereидами всплывет из пены,
Напрасным было. Только океан
Кипит и повторяет: тщетно, тщетно.
Тщета могущественна. Ей противясь,
Мы размышляем о костях корсаров,
О губернаторских бровях атласных,
Что краб прогрыз, до мяса добираясь.
Уж лучше крепко в поручни вцепиться
И в тяжком духе мыла, краски, лака
Найти подмогу. В скрежете заклепок
Плывут безумье наше и неясность,

И вера тайная, и тайный грех,
И лица павших вдалеке от дома.
На остров счастья? Нет. Ни я, ни ты
Не внемлем строк Горация за вихрем.
С изрезанной, скрипучей школьной парты
Нас в пустоте соленой не нагонит:

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna.

1956, Бри-Конт-Робер





П Р И М Е Ч А Н И Я П Е Р Е В О Д Ч И К А

Стр. 5

"Рахили в длиннохвостых шалях" - отсылка к героине драмы С.Выспянского "Свадьба" (те, кто видел фильм Вайды, помнят Майю Коморовскую в роли Рахили). Переводчику приходится признаться, что первый, поверхностный (и ошибочный) вариант был "Рашели" - автоматически сработало : "ложноклассическая шаль" и "Так, негодующая Федра, Стояла некогда Рашель".

Анна Чилаг (правильно : Чиллаг) - героиня рекламы средств для рощения волос перед Первой мировой войной в Австро-Венгрии. Она уже появлялась в польской поэзии - в стихотворении Юзефа Виттлина "A la recherche du temps perdu" (1933):

Я, Анна Чилаг, с длинными кудрями,
Всё та, всё в той улыбке сладко тая,
Стою между газетными столбцами
Вот уже тридцать лет, как бы святая.
.

Моих кудрей шумящий водопад
Ковром пушистым стелется до пят,
До пят босых волосяной богини.
.

Я, Анна Чилаг, даже в те года,
Как кровь была дешевле, чем вода,

И литеры набора заливала,
И рядом со столбцов ко мне взывала, -

Не поседела ни на волосок,
Не оскудела ни на волосок.

.

Стр. 6

Немецкое слово *Schifkarte* в форме "шифкарта" вошло в польский язык в начале XX в., во времена массовой эмиграции, - ныне ощущается как устаревшее. "Шифкарта" была для эмигрантов даровым билетом на проезд в трюме трансатлантического парохода, - билет оплачивали и высылали заокеанские родственники.

Стр. 8

"И Конго - место действия рассказа..." - речь идет о повести Джозефа Конрада "Сердце тьмы".

Стр. 9

"Словечки" Тадеуша Желенского, более известного под псевдонимом Бой, - сборник "фрашек" (стихотворных острот).

Стр. 11

"Кавалергард, солдат всех выше" - по-русски в тексте. Строка из русской армейской песенки.

"На Черняковской, Гурной и на Воле" - начало припева популярной в варшавских предместьях баллады о Черной Маньке, проститутке, отравившейся после того, как ее бросил возлюбленный.

Стр. 12

Строка из "Конрада Валленрода" Мицкевича. Здесь приводится по тексту в кн. : Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968, - в пер. Н.Асеева.

Стр. 13

Бал у Сенатора - сцена из III части "Дзядов" Мицкевича:

Смотри, как подъезжает к даме.

Вчера пытал - сегодня в пляс.

Обшаривает всех глазами,

Шакалом рыщет среди нас.

.

Вчера, как зверь, когтил добычу,

Пытал и лил невинных кровь.

Сегодня, ласково мурлыча,

Играет с дамами в любовь.

.

Какой здесь блеск, все тешит взоры!

.

Ах, негодяи, живодеры!
Чтоб разразило громом вас!

.

(Пер.В.Левика. Цит.по тому же изд.)

Речь идет о следствии, которое вел сенатор Новосильцев в Вильно по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии Российской империи (его приговор был одним из самых мягких).

"И пусть весной весну - не Польшу встречу", - писал Ян Лехонь (Лешек Серафинович) вскоре после восстановления независимой Польши. Это было время, когда в кафе "Под Пикадором" (одним из его основателей был Лехонь) начала складываться поэтическая группа "Скамандер" - о ней Милош далее говорит: "Такой плеяды не было вовеки". Кроме Лехоня, в "Скамандер" входили Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский (скончавшийся, как и Лехонь, в эмиграции), Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич - обо всех см. далее текст "Трактата".

Ор-От (Артур Оппман) - польский поэт старшего поколения (1867-1931), певец Варшавы, патриотизма и борьбы за независимость, участник польско-советской войны 1920 года.

Стр. 14

"Весна и вино" - сборник стихов К.Вежинского (1919).

ОНР – Национально-радикальный лагерь, национал-социалистическая группировка, действовавшая в Польше в 30-е годы. Деятели ОНР, особенно его крайнего крыла – ОНР-Фаланги, позднее легко нашли общий язык с коммунистическим режимом и, возглавив "товарищество мирян-католиков" ПАКС, содействовали идеологии и практике национал-коммунизма.

Юзеф Чехович (1903–1939) был убит в Люблине в первые дни войны немецкой бомбой – такую смерть он себе предсказал в одном из своих стихотворений. Крупнейший представитель "катастрофизма", поэт т.н. "второго авангарда", провинциал, лишь наездами живший в Варшаве, – он особенно близок Милошу, с которым его связывала и личная, и поэтическая дружба. Выше Милош цитирует стихотворение Чеховича "Из деревни".

Вся эта строфа – вереница скрытых цитат или отсылок к стихам названных в ней поэтов: "Гимн о ложке супа" Юзефа Виттлина, "Возвращение в Исфагань" Станислава Балинского, "Пасторалька (Коляда)" Тита Чижевского (цитаты из этого стихотворения – см. также в III части "Трактата"). Адам Важи́к много переводил французских поэтов – в особенности Г.Аполлинера. Мои поиски упомянутого Милошем стихотворения Важи́ка не увенчались успехом.

Оршуля – дочь величайшего польского поэта Яна Кохановского, умершая в малолетстве. На ее смерть Кохановский написал пронзительные "Трены" ("Плачи"), где говорит, что Оршуля должна была стать его наследницей в поэзии. В традициях польской поэзии – сравнивать поэтесс с Оршулей Кохановской. Стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской "Perché" (1930) входит в цикл "Пластинки Карузо". Образ пластинки появляется и в одном из предсмертных стихотворений Павликовской, где "игла соловьиного голоса" упирается в "холодную могильную плиту" (по-польски płyta – и плита, и пластинка), и эта плита-пластинка "кружит, и звучит слоу-фокс "ЖИЗНЬ" среди ночи и рос" (перевод дословный).

Стр. 20

Владислав Себыла был расстрелян в Катынском лесу. В Нобелевской лекции Милош сказал: "В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей : Леха Пивовара и Владислава Себылы – и дата их смерти – 1940. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя в Польше каждый знает правду : они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним пособником Гитлера, и похоронены в массовой могиле". Отметим, однако, что в двухтомной антологии "Польская поэзия" (Сост. С.Гроховяк и Я.Мацеевский. Варшава, 1973) годы жизни Себылы указаны : 1902–1941, с фальсифицированной датой смерти. Те же даты повторены и в первом и единственном посмертном издании стихов Себылы, вышедшем в Варшаве в 1981 году. Упомянутое Милошем стихотворение – "И снова топот ног солдатских..." – было напечатано в 1938 в сборнике "Образы мысли".

В 1943 Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения "великого немецкого ученого" Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы "Искусство и нация" решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся — именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал акцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен — он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был, в первую очередь, теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до великопольского шовинизма и имперской идеологии и — приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1944 Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом. Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе "Искусство и нация", но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещающим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22-23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем — идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 Милош написал стихотворение "Баллада". Вот строки из него:

Под землю Гайцы, под землю,
Уж навеки двадцатидвухлетний.
И без глаз он, и без рук, без сердца,
Ни зимы не знает и ни лета.

.

Под землю Гайцы – не узнает,
Что Варшава битву проиграла.
Баррикаду, на которой умер,
Разобрали треснутые руки.

.

– Говорят, сынок, стыдиться надо,
Не за правое, мол, дело бился.
Мне ли знать, пускай Господь рассудит...

.

Стр. 29

Эти четыре строки – подлинная песня, возникшая
гетто во время оккупации.

Стр. 30

Здесь все прямые и скрытые цитаты – из Мицкевича
Мицкевич – более, чем кто-нибудь, соотечественник
Милоша. Несмотря на утверждение о том, что "только
речь – отчизна", Милош мог бы повторить за Мицкеви-
чем: "О Литва! отчизна моя!"

"В легкую нанку..." – строфа из раннего (1817) сти-
хотворения Мицкевича "Зима в городе", оттуда же
"стаяка Харит".

"Ну-ка, кто о чем тут страждет? Кто тут алчет? Кто
тут жаждет?" – из части II "Дзядов".

Переводчику было бы удобнее использовать уже имеющиеся русские переводы Мицкевича, но если стихотворение "Зима в городе" в основательный, уже цитированный нами том "Библиотеки всемирной литературы" не вошло, то две строки из "Дзядов" (припев Хора) переведены несколько неуклюже и не очень точно: "Что вам дать? Пусть молвит каждый! Голодом томитесь? Жаждой?" - в то время как дословно это: "Говорите, кому чего не хватает, Кто из вас жаждет, кто из вас алчет". При этом справедливость требует отметить, что в целом перевод Л.Мартынова очень хорош - так, предыдущий припев Хора и точен, и выразителен, и сохраняет структуру двустихия: "Глушь повсюду, тьма ложится, Что-то будет, что случится?"

Из той же сцены "Дзядов" - и "горчичные зерна":

Что же просишь ты, дружок,
Чтоб попасть душе на небо?

.

Два зерна горчичных дайте!
Эти зернышки дороже
Всяческого отпущенья!

Слушайте же все и разумеите,
Знайте, что Господь повелевает:
Тот, кто горя не познал на свете,
После смерти радость не познает!

.

Детки горемычные,
Вот вам на дорогу
Два зерна горчичные
И - летите к Богу!

(Пер. Л.Мартынова)

Дом, что "бревенчат, но на камне ставлен", - это дом Соплицы в книге первой "Пана Тадеуша" (в переводе "Библиотеки всемирной литературы" эта деталь отсутствует, видимо, не вместились в строку). Там же упо-

мянуты "Федон" (диалог Платона) и "Жизнь Катона" Плутарха (где, в частности, говорится, что Катон Младший увлекался диалогом "Федон, или О бессмертии души"):

...Вот Рейтан на портрете,
Без вольности былой не мыслит жить на свете:
Сверкает нож в руке, решение непреклонно,
Раскрыты перед ним "Федон" и "Жизнь Катона".

(Пер. С.Мар /Аксеновой/)

"Венчает замок гору в Новогрудке" - строка из "Гражины", приводящая к сравнению холмистой Виленщины и плоской мазовецкой равнины. Потому-то далее "кто не рожден в том полевом краю" - это и Мицкевич, и Милош.

Стр. 33

"Отъезд греческих послов" - трагедия Яна Кохановского.

Стр. 41

"Польский артиллерист" - Тадеуш Костюшко.



Читатель заметит, что, в сравнении с числом упоминаемых в "Поэтическом трактате" имен и реалий, примечания не исчерпывают. Задача комментария – разъяснить, главным образом, те места, где понимание текста русским читателем – без дополнительных сведений – осталось бы заведомо обедненным или неясным. В задачу переводчика не входило ни дать полный академический комментарий, ни разъяснять, почему Милош так, а не иначе оценивает лица и события (ни, тем более, толковать историософские и натурфилософские концепции "Трактата").

Переводчик благодарен автору, внимательнейшим образом прочитавшему перевод и сделавшему целый ряд ценнейших замечаний, а затем нашедшему время обсудить со мной внесенные поправки. Переводчик также благодарит своих польских и русских друзей: Владимира Аллоя, Александра Б-ва, Станислава Баранчака, Иосифа Бродского, Ренату Горчинскую, Хенрика Гринберга, Наташу Дюжеву, Якуба Карпинского, Ирену Лясоту, Владимира Максимова, Хелену Шмунес, – которые были первыми читателями или слушателями поочередных вариантов бесконечно перерабатывавшегося перевода, – за советы и замечания. И Мирослава Хоецкого, поддержка которого была решающей на трудной стадии, предшествовавшей изданию.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС”

- А. Пушкин, ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ (1977)
В. Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ (1982)
В. Набоков, ЗАЩИТА ЛУЖИНА (1978)
Л. Карроль, АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС (перевод В. Набокова), 1982
М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 10-и ТОМАХ (1982-)
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ (1977)
А. Ахматова, БЕЛАЯ СТАЯ (1979)
М. Кузмин, КРЫЛЬЯ (1979)
М. Кузмин, ВОЖАТЫЙ (1979)
Б. Пастернак, ТЕМЫ И ВАРЬЯЦИИ (1972)
В. Маяковский, ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ — ТРАГЕДИЯ (1974)
НИКОЛАЙ ЕВРЕИНОВ — ФОТОБИОГРАФИЯ (1981)
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — ФОТОБИОГРАФИЯ (1980)
А. Белый, ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ (1982)
А. Платонов, ШАРМАНКА, пьеса (1977)
В. Хлебников, ЗАНГЕЗИ (1978)
А. Введенский, ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1980)
М. Цветаева, ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН (1980)
Г. Газданов, ВЕЧЕР У КЛЭР (1978)
С. Парнок, СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ (1978)
Ю. Олеша, ЗАВИСТЬ (1977)
Ф. Сологуб, МЕЛКИЙ БЕС (1979)
К. Вагинов, ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАОС (1973)
Б. Томашевский, ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (1972)
В. Шкловский, ТЕОРИЯ ПРОЗЫ (1972)
Е. Замятин, ОСТРОВИТАНЕ (1979)
Е. Замятин, НЕЧЕСТИВЫЕ РАССКАЗЫ (1978)
Б. Пильняк, ГОЛЫЙ ГОД (1979)
Л. Шестов, НАЧАЛА И КОНЦЫ (1978)
И. Ермаков, ЭТЮДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА
ПУШКИНА (1981)
А. Воронский, СТАТЬИ (1981)
А. Амальрик, ЗАПИСКИ ДИССИДЕНТА (1982)
М. Михайлов, ПЛАНЕТАРНОЕ СОЗНАНИЕ, статьи (1982)
Л. Копелев, И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА (1978)
Л. Копелев, ДЕРЖАВА И НАРОД (1982)
Л. Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО (1975)
Л. Белозерская, О, МЕД ВОСПОМИНАНИЙ (Булгаков), 1977
В. Войнович, ИВАНЬКИАДА (1976)
В. Аксенов, ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА (1979)
А. Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978)
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976)

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС“

- КАТАЛОГ. Литературный альманах (1982)
И. Бродский, НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ (1982)
И. Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)
А. Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО (1978)
В. Уфлянд, ТЕКСТЫ (1978)
Э. Лимонов, РУССКОЕ. СТИХИ (1978)
С. Довлатов, НЕВИДИМАЯ КНИГА (1978)
В. Аксенов, ОЖОГ (1980)
А. Ахматова, СТИХИ, ПЕРЕПИСКА, ИКОНОГРАФИЯ (1977)
С. Есенин, ИЗБРАННОЕ (1979)
М. Зощенко, РАССКАЗЫ (1979)
З. Гиппиус, ПИСЬМА К ХОДАСЕВИЧУ (1978)
В. Набоков, ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА (1978)
В. Набоков, КАМЕРА ОБСКУРА (1978)
В. Набоков, ЛОЛИТА (1975)
В. Набоков, СТИХИ (1979)
В. Набоков, КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ (1978)
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ (1982)
Н. Гумилев, ОГНЕННЫЙ СТОЛП (1977)
Н. Гумилев, КОСТЕР (1979)
СТРЕЛЕЦ № 1 (1978)
Н. Евреиннов, САМОЕ ГЛАВНОЕ, пьеса (1979)
Е. Попов, ВЕСЕЛИЕ РУСИ (1981)
Ф. Берман, РЕГИСТРАТОР (1982)
Р. Орлова, ВОСПОМИНАНИЯ О НЕПРОШЕДШЕМ
ВРЕМЕНИ (1982)
И. Бабель, БЛУЖДАЮЩИЕ ЗДЕЗДЫ (1981)
А. Ахматова, АННО ДОМИНИ (1977)
М. Кузмин, ЗАНАВЕШАННЫЕ КАРТИНКИ (1972)
А. Блок, ДВЕНАДЦАТЬ, Иллюстр. Анненкова (1972)
Н. Заболоцкий, СТОЛБЦЫ (1977)
В. Иванов / М. Гершензон, ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ ДВУХ УГЛОВ
М. Булгаков, ДЬЯВОЛИАДА (1977)
В. Набоков, ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ (1978)
В. Набоков, ПНИН (1982)
В. Набоков, ДРУГИЕ БЕРЕГА (1978)
Ю. Кублановский, ИЗБРАННОЕ (1981)
Н. Горбаневская, НАУКА РАССТАВАНЬЯ (1982)
Б. Вахтин, ДВЕ ПОВЕСТИ (1982)
И. Варламова, МНИМАЯ ЖИЗНЬ (1979)
В. Марамзин, ТЯНИТОЛКАЙ (1981)
Ю. Алешковский, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1980)

